
Долг туману · книга 1
Дом, который помнит
Ева Нечаева

Ева Нечаева
Дом, который помнит

https://litres.ru/74792939
SelfPub; 2026

Аннотация

Ника не верит в приметы и бабушкины сказки. Она аудитор: всё, что нельзя проверить, для неё не существует. В Сырой Бор она приезжает на три дня, чтобы оформить наследство, продать дом и вернуться в Петербург к повышению.

Но на двери бабушкиного дома чужой замок, а на столе тетрадь, где бабушка двадцать три года записывала, что «отдала»: имена, свадьбу дочери, смех внучки. Местный электрик Арсений, который не помнит своего детства, приносит амбарную книгу и говорит, что долг бабушки теперь на Нике. В Сыром Бору долги платят туману. Воспоминаниями.

Ника умеет находить недостачи в чужих отчётах. Теперь ей предстоит самая трудная проверка в жизни: выяснить, кто подделывает подписи в книге, что случилось с ней на болоте в семь лет и почему человек, которому она начинает верить, платит за неё своей памятью.

Первая книга серии «Долг туману».

Содержание

Глава 1. Ключ с третьей попытки 4
Глава 2. Справка об отсутствии 14
Глава 3. Счётная книга 23
Глава 4. Список до 33
Глава 5. Выборка 41
Глава 6. До востребования 50
Глава 7. Калькулятор без равенства 58
Глава 8. Чужое воспоминание 63
Глава 9. Письмо с котятами 71
Глава 10. Сеня 77
Конец ознакомительного фрагмента. 78

Ева Нечаева
Дом, который помнит

Глава 1. Ключ с третьей попытки

Ключ не подошёл ни с первой, ни со второй попытки, а на третьей я поняла, что дело не во мне.

Замок был новый. Блестящий, с латунной накладкой, ещё в заводской смазке, он торчал из бабушкиной двери, как пластиковая пломба в старом зубе. Когда-то здесь висел навесной замок на ржавой петле, и его можно было открыть гвоздём. Я это знала точно: в семь лет я открывала его гвоздём, когда бабушка уходила на ферму, и съедала из погреба всю клюкву с сахаром.

Нотариус Ратников выдал мне ключ вчера в райцентре, вместе с пачкой копий и словами «дом, земельный участок, вклад в Сбербанке на сумму…». Ключ был старый, с бородкой, и явно не от этого замка.

Я поставила сумку на крыльцо. Крыльцо оказалось косым: левая ступенька ушла в землю, правая держалась, и сумка медленно поехала вниз. Я поймала её коленом и выругалась так, что с забора слетела ворона.

Автобус из райцентра довёз меня до развилки у лесопилки. Дальше было три километра пешком, потому что такси в

Сырой Бор не ездят, а единственный попутный грузовик вёз брёвна и меня не взял. Я шла по раскисшей дороге в городских ботинках и считала шаги. На четырёх тысячах восьмистах я перестала: вышло слишком много, чтобы это знание было полезным.

Я позвонила Ратникову. Он не ответил. Я написала ему сообщение, вежливое и подробное, с вопросом, какой ключ он мне выдал и от какого именно дома. Сообщение ушло, но не прочиталось: в Сыром Бору одна палочка связи, и та появляется, если встать на перевёрнутое ведро у колодца.

Я этого не помнила. Мне сказала про ведро женщина в оранжевой куртке, которая шла мимо и долго меня разглядывала.

— Вы Таисии Марковны внучка, — сказала она. Не спросила.

— Да.

— Похожа. — Женщина посмотрела на мои ботинки и пошла дальше, а через три шага обернулась: — Замок не вы ставили?

— Нет.

— Ну вот и я думаю. — И ушла.

Я стояла на косом крыльце, держала бесполезный ключ и пыталась вспомнить, как зовут эту женщину. Не вспомнила. Я вообще мало что помнила про Сырой Бор. Здесь прошли семь моих детских лет, все лета до школы и одно после, а потом бабушка перестала звать меня на каникулы. Мама го-

ворила, что у бабушки «тяжёлый характер», и я, к десяти годам, решила, что это обо мне.

Последний раз я говорила с ней по телефону в июне. Она спросила, хорошо ли я ем. Я ответила, что работаю. Она сказала: «Это не ответ». Я сказала, что у меня совещание, и положила трубку. Через три месяца, в сентябре, я была в командировке в Казани на инвентаризации склада, и пока я пересчитывала паллеты с бытовой химией, бабушку хоронили. Я не успела на самолёт. Вернее, успела бы, если бы закрыла акт на день раньше. Я не закрыла.

Это всё, что нужно знать о моих отношениях с бабушкой. Цифры не врут.

— Не ломайте, пожалуйста.

Голос был спокойный, мужской, откуда-то сбоку. Я обернулась слишком резко и опять чуть не уронила сумку.

У калитки стоял мужчина в рабочей куртке, с ящиком инструментов в руке. Высокий, худой, в очках на шнурке, которые висели у него на груди. Ему было лет тридцать с чем-то, и выглядел он так, будто его оторвали от чего-то точного и неприятного, например от проводки.

— Я не ломаю, — сказала я. — Я пытаюсь войти в свой дом.

— Он пока не совсем ваш.

— Простите?

Мужчина поставил ящик на землю, достал из кармана ключ, новый, с пластиковой головкой, и прошёл мимо меня к

двери. Замок открылся с первой попытки. Он толкнул дверь и отступил, пропуская меня.

— Я поменял замок девятнадцатого сентября, — сказал он. — Через два дня после похорон. В дом пытались войти.

— Кто?

— Не знаю. Окно было разбито со стороны огорода. Ничего не взяли.

— А вы кто?

— Лучинин. Арсений Павлович. — Он подумал и добавил: — Электрик.

— Электрик, который меняет чужие замки.

— Таисия Марковна просила меня присмотреть за домом, если с ней что-то случится.

— Просила письменно?

Он посмотрел на меня поверх очков, хотя очки висели на груди и смотреть поверх них было не через что. Просто у него была такая манера.

— Устно, — сказал он. — Вы хотите войти или будем стоять?

Я вошла.

В доме пахло так же, как в моём детстве, и это было нечестно. Я была готова к пыли, к сырости, к чему угодно, но не к этому запаху: сушёная мята, печная зола и что-то сладкое, как пригоревший сахар. Я остановилась в сенях и поняла, что не могу пошевелиться, потому что тело узнаёт дом раньше головы.

На косяке двери в комнату были карандашные отметки. Я их помнила. Бабушка ставила меня к косяку каждое первое июня и проводила черту по макушке толстым плотницким карандашом. Рядом писала год. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003.

Дальше ничего не было. Над чертой «2003» косяк был чистым до самого верха, покрашенным, без единой отметки. Двадцать три года пустого дерева.

— Она не перекрашивала косяк, — сказал за моей спиной Лучинин. — Все остальные двери перекрашивала. Этот нет.

Я не ответила. Я прошла в кухню, потому что в кухне можно было что-то делать руками.

Кухня была чистой. Бабушка всегда держала кухню в чистоте, даже когда пол в комнате неделю был не метён. Клеёнка в мелкую клетку, буфет с треснувшим стеклом, на подоконнике герань, которая без воды почти засохла. Я налила воды из чайника в стакан и полила герань, потому что это было единственное, что я сейчас могла исправить.

На столе лежала тетрадь.

Обычная школьная тетрадь в клетку, девяносто шесть листов, в мягкой обложке с котятами. Бабушка всегда покупала такие тетради, на котятах выписывала мне летние задания по математике. Я открыла её посередине.

Это был список. Каждая строка начиналась с даты, потом шло слово «Отдала:», а в конце, справа, число со словом «Осталось».

«3 сент. Отдала: как звали Мурку (первую). Осталось: 417».

«5 сент. Отдала: дорогу к Глуховым через болото. Осталось: 416».

«8 сент. Отдала: Олину свадьбу. Осталось: 414».

Оля была моя мама.

Я перелистнула назад. Тетрадь была исписана почти вся, мелким учительским почерком, строка к строке. Я пролистала до начала, и на первой странице стояла дата: «1 янв. 2025». Значит, были и другие тетради. Тридцать, сорок, сколько их набралось, если одна уходит на два года?

Я вернулась к концу. Последняя строка была написана другим почерком. Не другим человеком, а другой рукой: буквы плясали, ручка рвала бумагу.

«11 сент. Отдала: как Ника смеялась. Осталось: 412».

На следующий день, двенадцатого, бабушка ушла на болото. Её нашли через два дня. Медсестра из посёлка сказала нотариусу «деменция, заблудилась», и нотариус повторил это мне. Я поверила, потому что так было удобно. Деменция всё объясняла: и короткие звонки, и то, что последние два года бабушка путала моё имя с маминым, и то, что она переставала меня звать.

— Это что? — спросила я.

Лучинин стоял в дверях кухни. В дом он не прошёл, остался на пороге, как будто между нами была граница, которую он не собирался переходить без приглашения.

— Тетрадь Таисии Марковны, — сказал он.

— Я вижу. Что это за список?

Он помолчал. Потом сказал очень ровно, как говорят в больнице:

— Вероника Андреевна, вам лучше сначала отдохнуть. Вы шли пешком от развилки.

— Откуда вы знаете?

— У вас грязь до колена.

Я посмотрела на свои брюки. Он был прав. Это меня разозлило сильнее, чем всё остальное за день.

— Я завтра оформлю документы, — сказала я. — Послезавтра выставлю дом на продажу. В четверг уеду. Если вам что-то нужно от бабушки, от её дома или от меня, скажите это сейчас, и я внесу в список.

— Мне ничего не нужно, — сказал он. — Но вам не стоит ничего подписывать, пока не закроется её счёт.

— Какой счёт? У бабушки вклад в Сбербанке. Я видела выписку.

— Я не про Сбербанк.

— Тогда про что?

Он взглянул на тетрадь в моих руках, и в его лице что-то изменилось. Не жалость, жалость я бы узнала и выставила его за дверь. Скорее усталость человека, который уже много раз видел, как люди открывают такую тетрадь.

— Бумаги из дома не выносите, — сказал он. — Особенно тетради. Я зайду завтра вечером.

— Вы не ответили.

— Нет, — согласился он, поднял свой ящик и пошёл к калитке. У калитки обернулся: — Окна на огород на ночь закройте. Все.

И ушёл.

Я осталась одна в кухне с тетрадью, засохшей геранью и бесполезным ключом в кармане. Связи не было. Батарея телефона показывала тридцать один процент. Я нашла в буфете свечи, спички и пачку чая со слоном, который бабушка, судя по всему, покупала только ради картинки. Поставила чайник. Подумала и добавила в кружку три ложки сахара, а потом выплеснула и заварила новый, без сахара. Пить сладкий чай в доме, где тебя не ждали, было бы враньём.

Я села за стол и стала читать тетрадь с начала, как читают отчётность: строка за строкой, отмечая карандашом всё, что не сходится.

Не сходилось всё.

Бабушка «отдавала» воспоминания. Не теряла, не забывала. Отдавала. Каждая запись была про конкретное событие, и каждый раз число справа уменьшалось на одну, две, иногда на три единицы. Ни разу не увеличилось. Как график погашения кредита, где платёж берут не деньгами.

К десяти вечера я поняла, что за последние двадцать месяцев бабушка «отдала» мой первый класс, мой выпускной, мою ветрянку, моё имя в четырёх записях подряд («как звала Нику маленькой», «как звала Нику, когда сердилась», «как

Ника звала меня», «Никин голос по телефону»), свою свадьбу, смерть деда и рецепт клюквенного морса.

К одиннадцати я решила, что это болезнь. Это было единственное разумное объяснение, и я записала его на обороте счёта за электричество, который нашла в буфете: «Деменция. Ритуальное поведение. Компенсация утраты памяти через учёт». Это звучало как аудиторское заключение, и мне стало немного легче.

В половине двенадцатого я пошла закрывать окна.

На огород выходили два окна, кухонное и в маленькой комнате, где я спала в детстве. Кухонное я закрыла сразу. Во второй комнате рама разбухла от сырости и не поддавалась, я дёргала её, ругаясь шёпотом, пока не догадалась поднять шпингалет повыше.

И тогда я увидела туман.

Он стоял у забора, там, где огород переходил в высокую сухую траву, а трава уходила к болоту. Не стелился, как положено туману, по земле, а стоял стеной, белый, плотный, в рост человека. Луна была за облаками, но туман светился сам, как светится в темноте экран выключенного монитора.

Он шёл к дому. Медленно, так медленно, что я не сразу поняла, что граница сдвинулась. Сначала он закрыл забор. Потом грядку, где когда-то росла клубника. Потом бочку с дождевой водой.

В нём кто-то был.

Я сначала решила, что это куст. Потом что это ребёнок.

Девочка лет семи, в светлом платье с крупными синими цветами, стояла по колено в тумане у бочки и смотрела на окно. Лица я не видела, но видела платье. Я знала это платье. Оно было моё. Бабушка сшила его мне из старой занавески, и я ревела, потому что хотела покупное.

Девочка подняла руку и помахала.

Рама наконец поддалась и хлопнула так, что задребезжало стекло. Я задёрнула занавеску, отошла от окна на три шага и только тогда поняла, что держу шпингалет вывернутым из рамы, вместе с шурупами.

Я простояла посреди комнаты, наверное, минуту. Потом взяла свечу, вернулась в кухню и написала на обороте того же счёта под словом «Деменция» ещё одну строчку, мелко, чтобы самой не читать:

«Проверить: у кого ещё в посёлке такая тетрадь».

Спать я легла одетой, с телефоном в руке. Палочка связи так и не появилась.

Глава 2. Справка об отсутствии

Утром туман ушёл, а шпингалет остался у меня на тумбочке, вместе с шурупами.

Я проснулась в семь, хотя будильник не ставила: тело в командировках привыкло просыпаться в чужих местах раньше всех. Огород за окном был обычным, мокрым, серым. У бочки с дождевой водой никого не было. Трава у забора лежала примятой полосой, как после ветра, только ветра ночью не было, я бы услышала.

Я сфотографировала полосу на телефон, потом удалила фото. Если я начну документировать примятую траву, следующей будет тетрадь с котятами, а после неё мне придётся объяснять маме, почему я не вернулась в четверг.

План на день был простой и записан на обороте того же счёта, ниже вчерашнего: «1. Справка об отсутствии задолженности за ЖКУ. 2. Электричество (счётчик, показания). 3. Нотариус (ключ!). 4. Риелтор — найти в райцентре».

В Сыром Бору справки выдавала администрация. Администрация занимала полдома бывшего сельсовета, вторую половину занимал фельдшерско-акушерский пункт, и вход у них был общий, через крыльцо с перилами, выкрашенными в цвет, который бывает только у перил в сельсоветах.

Внутри было тепло, пахло хлоркой и печеньем. За столом с компьютером сидела девушка в пушистом свитере, на стуле

для посетителей сидел кот. Кот на меня даже не посмотрел.

— Мне справку об отсутствии задолженности, — сказала я. — По дому Лобановой Таисии Марковны, Нижняя, четырнадцать.

Девушка посмотрела на меня так же долго, как вчерашняя женщина в оранжевой куртке.

— А вы внучка.

— Да.

— Похожи. — Она застучала по клавиатуре. — Задолженности нет. Таисия Марковна платила вперёд. У неё оплачено до мая.

— До мая?

— Она всегда платила вперёд. Говорила: «Чтобы никому не была должна».

Я забрала справку, тёплую, только из принтера. Ничего не сходилось, и это начинало меня злить. Человек с деменцией, который вперёд платит за электричество, выбивался из моего заключения.

На выходе я столкнулась с женщиной в белом халате поверх вязаной кофты. Она несла поднос с чем-то, накрытым полотенцем, и чуть не уронила его на меня.

— Ой, господи, — сказала она. — Никуша?

Я не помнила её. Мягкое круглое лицо, короткие седые волосы, очки в тонкой оправе, на халате значок с вышитым красным крестом. Пятьдесят с чем-то. Пахло от неё печеньем, и я поняла, откуда в администрации этот запах.

— Вероника, — сказала я.

— Никуша, — повторила она так, будто я ничего не говорила, и обняла меня одной рукой, держа поднос в другой. Обнимала она по-настоящему, крепко, и я стояла с вытянутыми руками, как манекен, пока она не отпустила. — Я Вера Сергеевна. Фельдшер. Ты меня не помнишь, маленькая была. Я тебе коленку зашивала. Помнишь, ты с забора у Сотниковых упала?

— Нет, — сказала я.

— Ну и не надо помнить. — Она сунула мне в руки что-то тёплое, завёрнутое в салфетку. — Пирожок с капустой. Ешь, ты худая. Таечка говорила, ты в городе совсем не ешь.

Пирожок был горячий. Я держала его в руке и не знала, что с ним делать.

— Спасибо, — сказала я. — Вера Сергеевна, это вы были при бабушке, когда её… когда её нашли?

Улыбка у неё не исчезла, но стала тише.

— Я, — сказала она. — Я её и в райцентр возила последние годы, по врачам. Ты не думай, Никуша, она не мучилась. Она уже мало что понимала. Ушла ночью, заблудилась, у нас тут болото, туман… Ты не вини себя.

— Я и не виню, — сказала я, хотя это было неправдой.

— Вот и умница. — Она погладила меня по плечу. — Зайди ко мне на пункт, ладно? Там Таечкины лекарства остались, неоплаченные, их вернуть надо, расписаться. Мне отчитываться.

На пункте было ещё теплее. Вера Сергеевна достала из шкафа коробку с бабушкиными лекарствами, нераспечатанными: что-то от давления, что-то от памяти, название которого я знала, потому что в прошлом году проверяла аптечную сеть. Препарат был дорогой и бесполезный. Вера Сергеевна открыла толстый журнал выдачи, разлинованный от руки, и подвинула мне.

— Вот тут, Никуша, фамилия, дата, подпись. Что возвращено.

Я расписалась. Обычной своей подписью, с размашистым «Л» в начале и хвостом, который уходит вниз, потому что я всегда расписываюсь на бегу.

Вера Сергеевна смотрела, как я расписываюсь, внимательно, наклонив голову.

— Красиво пишешь, — сказала она. — Как Таечка. Она тоже «Л» вот так закручивала.

— Не помню, — сказала я.

— Ну и не надо. — Она закрыла журнал, убрала его в шкаф и опять погладила меня по плечу. — Ты, если что, приходи. Тебе одной там тяжело будет. Люди у нас… разные. Наговорят всякого. Ты не слушай.

— Чего всякого?

— А, — она махнула рукой, — сказки. Деревня. Иди, Никуша, ешь пирожок.

Пирожок я съела на крыльце. Он был вкусный, и меня это раздражало.

Магазин в Сыром Бору был один, на Верхней улице, в кирпичном здании с вывеской «Продукты. 24 часа». Под вывеской на двери висела табличка: «с 8 до 21». Мне нужны были батарейки, вода и что-то кроме пирожка, и ещё я хотела спросить, где найти человека, который купит дом в посёлке, где интернет ловится с ведра.

В магазине было четверо. Продавщица за прилавком, двое мужиков у холодильника с пивом и крупный мужчина в дорогой куртке и грязных ботинках, который разговаривал с продавщицей так, как разговаривают с подчинёнными. Он стоял ко мне спиной. На прилавке перед ним лежал калькулятор с отклеенной кнопкой «=». Вместо кнопки торчал голый контакт, и мужчина нажимал его ногтем.

— Мне батарейки, — сказала я продавщице. — Пальчиковые. И воды.

Мужчина обернулся.

Ему было под пятьдесят. Тяжёлое лицо, короткая шея, глаза светлые и неприятно цепкие. Он оглядел меня от ботинок до волос, неторопливо, как оглядывают машину на рынке.

— Лобанова, — сказал он. — Внучка.

— Да, — сказала я. — Мы знакомы?

— Пашкевич. Эдуард Викторович. — Руку он не протянул. — Председатель совета. Магазин мой, пилорама моя, половина посёлка у меня в долгах. Дом продавать будешь?

— Буду.

— Я куплю.

Мужики у холодильника перестали звенеть бутылками.

— Вы даже не спросили цену, — сказала я.

— А мне не надо. — Пашкевич нажал ногтем на голый контакт калькулятора, посмотрел на экран и усмехнулся, хотя на экране ничего не появилось. — Тут цену не продавец назначает. Тут всё дешевеет. У Таисии Марковны долги.

— У бабушки нет долгов. Я только что взяла справку.

Он засмеялся. Смех был громкий, короткий, неприятный, как кашель.

— Справку, — повторил он. — Слышь, Галя, она справку взяла.

Продавщица Галя не засмеялась. Она смотрела в прилавок.

— Таисия Марковна за внучку до сих пор не расплатилась, — сказал Пашкевич. Сказал громко, на весь магазин, глядя мне в лицо. — Двадцать три года платила. И не доплатила. А долги, девонька, по наследству переходят. Ты у нас теперь кругом должна.

Тишина в магазине стала такой, что было слышно, как гудит холодильник.

— Какой долг? — спросила я. — Кому?

Пашкевич перестал улыбаться.

— А ты не знаешь, — сказал он. Не спросил, а отметил, как записывают в протокол. — Ну, узнаешь. Электрик тебе расскажет. Он у нас всё знает. А надумаешь продавать, при-

ходи. Дам больше, чем дадут потом.

Он сгрёб калькулятор с прилавка в карман и вышел. Дверь хлопнула. Мужики у холодильника расплатились за пиво молча, не глядя на меня, и тоже вышли.

— Сколько с меня? — спросила я Галю.

— Двести сорок, — сказала она. И, пока я доставала карту, тихо, не поднимая глаз: — Вы его не слушайте. Он злой. Но вы ночью окна закрывайте.

— Мне это уже говорили.

— Вот и закрывайте. — Она протянула мне пакет. — И это. Вы ведь не будете у нас долго?

— До четверга.

— Это хорошо, — сказала Галя и отвернулась к полке с крупами.

Я шла домой по Нижней улице с пакетом воды, справкой об отсутствии задолженности в кармане и чувством, что меня разыгрывают всем посёлком. Это было знакомое чувство. Так бывает на складах, где кладовщики договорились заранее: все отвечают одинаково, вежливо, не глядя в глаза, и все врут одно и то же. Такие склады я вскрывала за два дня. Нужно было найти одного, кто устал врать, и начать с него.

У колодца я встала на перевёрнутое ведро. Связь появилась: одна палочка, мигающая. Пришло сообщение от Ратникова, вчерашнее: «Ключ выдан по описи, вероятно, старый. Обратитесь в администрацию». И три сообщения с работы: про акт по Казани, про встречу в понедельник и одно от ру-

ководителя, Игоря Семёновича, короткое: «Ника, не забудьте, с 1 декабря новая должность. Ждём вас в четверг».

Я ответила всем. Игорю Семёновичу написала: «Буду в четверг». Потом постояла на ведре ещё минуту, глядя на болото за огородами. Отсюда оно было видно хорошо: бурая трава, редкие кривые сосны и одна высокая, на острове, наклонённая, как человек, который что-то пишет на коленях.

Я её помнила. Не саму сосну, а то, что к ней нельзя было ходить. Бабушка говорила: «Там Кассирша сидит, она маленьких записывает». Я в семь лет боялась этой сосны больше, чем пьяного соседа.

Домой я пришла в шесть, когда уже темнело. Поставила чайник. Зажгла свет, проверила счётчик, переписала показания на тот же оборот счёта, который уже выглядел как черновик квартального отчёта. Открыла тетрадь с котятами и в который раз прочитала последнюю строчку.

«Отдала: как Ника смеялась. Осталось: 412».

В дверь постучали в семь.

Я знала, кто это, раньше, чем открыла. Лучинин стоял на крыльце, на одну ступеньку ниже, в той же рабочей куртке, с ящиком инструментов в одной руке и большой амбарной книгой в коричневом переплёте под мышкой. Очки висели на шнурке. На тыльной стороне левой ладони, у запястья, шариковой ручкой было что-то написано, я не разобрала что.

— Добрый вечер, Вероника Андреевна, — сказал он.

— Вы сказали «завтра вечером».

— Я передумал. — Он посмотрел мне за спину, в сени, потом опять на меня. — Вы сегодня были в магазине.

— Вы следите за мной?

— Нет. Мне позвонила Галя. — Он помолчал. — Вам нужно это увидеть до того, как вы что-нибудь подпишете. Можно войти?

Я посмотрела на книгу у него под мышкой. Переплёт был затёрт до картона на углах, корешок перехвачен изолентой. Такие книги я видела в бухгалтериях совхозов, когда проходила практику: в них записывали надои, расход солярки, выдачу зарплаты натурой. В них никогда не врали, потому что врать в таких книгах было сложно, а бумага была дорогая.

— Входите, — сказала я.

Глава 3. Счётная книга

Он сел не за стол, а на табурет у печки, далеко от меня, и положил книгу себе на колени. Я поставила на стол вторую кружку. Он покосился на неё и сказал:

— Спасибо. У меня с собой.

Из кармана куртки он достал термос, старый, зелёный, с отбитой крышкой, налил себе в эту крышку чаю и поставил её на пол у ноги. Термос пах шиповником. Всё в нём было рассчитано на то, чтобы не задерживаться и ничего здесь не брать, и это я узнала: я сама так сижу на встречах с клиентами, которые мне не нравятся.

— Галя сказала, Пашкевич назвал вас должницей, — начал он.

— При всём магазине.

— Это он зря. — Лучинин сказал это без осуждения, как констатируют, что провод перегорел. — Но это правда.

— Что именно?

— Что вы должны.

Я села напротив него, тоже на табурет, хотя рядом был нормальный стул. Мне хотелось, чтобы мы были на одной высоте.

— Арсений Павлович, — сказала я. — Я старший аудитор. Восемь лет я ищу недостачи в чужих компаниях. Знаете, как выглядит человек, который собирается мне объяснить,

почему я кому-то должна, а документов у него нет?

— Как?

— Он сначала просит чаю.

Он глянул на свою крышку с шиповником у ноги, и что-то в углу рта у него дрогнуло. Почти улыбка, но он её не пустил.

— Документы у меня есть, — сказал он и открыл книгу.

Он не протянул мне её. Он повернул её на коленях так, чтобы я могла читать, и придержал страницу двумя пальцами, будто я могла выхватить.

Книга была разлинована вручную, линейкой и карандашом. Графы: дата, кредитор, предмет, должник, подпись, мера, остаток. Записи шли разными почерками, разными чернилами, некоторые карандашом. Подписи стояли ручкой, все. Почерк хранителя (я сразу назвала его про себя хранителем, хотя он ещё не сказал этого слова) был мелкий, прямой, ровный, без наклона, как печатный.

— Это шестой том, — сказал он. — Начат в девяносто восьмом году. Первые пять хранятся у Тимофея Ильича Глухова, он вёл книгу до меня. Перед ним вела его мать.

— Это местная… — Я подбирала слово. — Касса взаимопомощи?

— В каком-то смысле.

— Кто кредитор?

— Разные. Банк, сосед, больница. Межа.

— Межа это болото.

— Межа это болото, — согласился он.

Я посмотрела на него. Он смотрел на меня очень спокойно, без тени шутки. Я хотела засмеяться, но смех застрял где-то под горлом и вышел коротким выдохом, как будто я поднималась по лестнице.

— Хорошо, — сказала я. — Давайте по порядку. Как это работает.

И он объяснил. Сухо, по пунктам, как читают регламент.

Человек приходит к хранителю, если ему чего-то не хватает: денег, времени, здоровья, чужой жизни, которую он не готов отпустить. Хранитель записывает строку: что, кому, за кого, сколько. Должник расписывается. И нехватка закрывается. Находятся деньги. Возвращается вещь. Отступает болезнь. Человек, который должен был умереть, не умирает.

А потом туман приходит за платой. Не деньгами. Воспоминаниями. По одному, в туманные ночи. Туман берёт то, что должник ценит не меньше, чем стоит очередная часть долга. Мелочью нельзя откупиться.

— Это вы называете «мерой», — сказала я, показав на графу.

— Это так называют в книге. Обычное воспоминание стоит одну-три меры.

— Кто решает, сколько стоит воспоминание?

— Межа.

— Конечно.

Он ничего не ответил на «конечно». Он перевернул несколько страниц назад и остановился. Потом повернул

книгу ко мне ещё больше, почти отдал, но пальцы с края страницы не убрал.

— Июль две тысячи третьего, — сказал он.

Строка была написана не его рукой: другой почерк, стариковский, с наклоном. Наверное, Глухова.

«4 июля 2003. Кредитор: Межа. Предмет: жизнь. Должник: Лобанова Т. М. за Лобанову В. А. Подпись: [бабушкина, я узнала её сразу, учительская, с завитком на «Л»]. Мера: 600. Остаток: 600».

Ниже, через двадцать с лишним лет мелких строк, той же ручкой хранителя были записаны платежи. По одному, по два. Я пролистала до последней страницы, где кончались записи о Лобановой Т. М.: «11 сент. 2026. Остаток: 412».

Это совпадало с тетрадью. До меры.

— Лобанова В. А., — сказала я. — Вероника Андреевна. Это я.

— Да.

— Жизнь.

— Да.

— Мне было семь лет. Я лежала с пневмонией в районной больнице в июле две тысячи третьего. У меня есть выписка. Мама её хранит.

— Я не знаю, что у вас есть, — сказал он. — Я знаю, что записано здесь. Меня тогда в посёлке… — он запнулся, совсем коротко, — не было.

Я снова посмотрела на строку. Рядом с ней, в той же дате,

четвёртое июля, была ещё одна. Вернее, то, что от неё осталось: густое пятно фиолетовых чернил, залитое так плотно, что бумага в этом месте вздулась и пошла волной. Из-под пятна торчал край подписи. Завиток на «Л».

— А это что?

— Не знаю.

— Вы хранитель книги и не знаете, что в ней написано?

— Эту строку залили до меня. — Он сказал это спокойно, но я заметила, что его левая рука, та, что с надписью на запястье, легла на страницу и прикрыла пятно. Жестом, которым прикрывают ссадину. — Тимофей Ильич не помнит. Таисия Марковна не говорила.

— Её подпись.

— Похоже.

— Похоже — это не ответ, — сказала я. — Это то, что пишут в акте, когда не хотят отвечать.

Он поднял на меня глаза. Посмотрел долго, внимательно, будто впервые увидел.

— Вы правы, — сказал он. — Я не знаю.

Я встала, отошла к буфету и налила себе остывшего чаю. Руки мне надо было чем-то занять. Кружка звякнула о блюдце сильнее, чем нужно.

— Давайте я скажу, как я это вижу, — сказала я, стоя к нему спиной. — Пожилая женщина живёт одна. У неё прогрессирует деменция. В посёлке есть, скажем так, традиция. Местное поверье про туман и болото. Кто-то, может быть из

лучших побуждений, а может быть и нет, ведёт эту книгу. Женщина в неё верит. Ведёт тетрадь, где записывает, что забыла, и называет это платой. Внучка, которая не приезжала двадцать три года, получает наследство. И тут выясняется, что к наследству прилагается долг. Который можно, например, закрыть, продав дом председателю совета посёлка. Дёшево.

Я повернулась.

— Я ничего не пропустила?

Лучинин сидел, держа книгу на коленях, и ничего не говорил. На полу у его ноги остывала крышка с шиповником. Кот, рыжий и толстый, неизвестно откуда взявшийся в моей кухне, тёрся об его ботинок, и он рассеянно почёсывал его за ухом, не глядя.

— Это ваш кот?

— Рубль, — сказал он. — Он всегда за мной ходит.

— Через всю деревню?

— Он упрямый.

Кот запрыгнул ему на колени, прямо на открытую книгу, и улёгся на страницу с моей строкой. Лучинин не стал его сгонять. Он посмотрел на кота, потом на меня.

— Вы ничего не пропустили, — сказал он. — Ваша версия разумная. На вашем месте я бы тоже так думал.

— Но?

— Но вы ошибаетесь в одном. — Он аккуратно, двумя руками, приподнял кота и переложил его на соседний табу-

рет. Кот обиделся и стал вылизывать лапу. — Правило седьмое. Смерть должника не закрывает долг. Если долг брали за другого человека, остаток переходит на того, за кого брали.

— На меня.

— На вас. Четыреста двенадцать мер. С двенадцатого сентября.

— Она ушла в туман. Вы сами сказали. Разве Межа не забрала всё?

— Своё забрала. — Он кивнул, будто ждал этого вопроса. — Если должник уходит в туман целиком, его собственный долг закрывается: Межа взяла всё, что было, и считает, что в расчёте. А если умирает дома, своей смертью, долг идёт наследнику. Но долг, взятый за другого, не закрывается ни так, ни так. Он возвращается к тому, за кого брали. Таисия Марковна брала за вас.

Я засмеялась. На этот раз смех вышел нормальный, почти весёлый. Мне правда стало смешно: столько усилий, такой сложный сценарий, амбарная книга, туман, кот, а в итоге всё сводится к тому, что мне надо подписать что-то, что мне подсунут.

— Арсений Павлович, — сказала я, отсмеявшись. — Я ничего подписывать не буду.

— Я вас об этом и прошу, — сказал он. — Ничего не подписывайте.

Это сбило меня. Я приготовилась к давлению, к уговорам, к чему угодно, но не к тому, что он попросит ровно то, что

я собиралась сделать.

— Тогда зачем вы пришли?

Он закрыл книгу. Сунул её под мышку, взял термос, вылил остатки из крышки обратно в термос, а не в мою раковину. Встал.

— Потому что Межа не ждёт подписи, — сказал он. — Подпись нужна, чтобы взять долг. Чтобы платить, она не нужна.

Он пошёл к двери. Кот спрыгнул с табурета и пошёл за ним.

— Это всё? — спросила я ему в спину.

Он остановился в сенях, у косяка с отметками роста. Я видела, как он посмотрел на них: на верхнюю, «2003», и на пустое дерево над ней. Он смотрел на них дольше, чем следовало бы человеку, которому всё равно.

— В ночь на пятницу туман придёт за первым платежом, — сказал он, не поворачиваясь. — С вас. Я хочу, чтобы вы знали, что у вас его заберут. Не что-то абстрактное. Что-то, что вы помните сейчас.

— И что мне делать?

— Ничего. — Он открыл дверь. С улицы потянуло холодом и сыростью, и откуда-то, очень издалека, запахом болотной воды. — Запишите, что помните. Потом сравните.

— Что сравнить?

Он обернулся. Очки висели у него на груди, на шнурке. Глаза без очков были усталыми и неожиданно светлыми.

— Список до и список после, — сказал Лучинин. — Вы же аудитор.

Дверь закрылась.

Я стояла в кухне, пока не перестали скрипеть доски крыльца. Потом подошла к окну. Он шёл по Нижней улице в темноте, без фонаря, с книгой под мышкой, и рыжий кот бежал за ним, высоко подняв хвост. На краю видимости, где улица поворачивала к Верхней, он остановился, поднял к лицу левую руку и что-то долго разглядывал у себя на запястье. Потом пошёл дальше.

Я вернулась к столу, взяла оборот счёта за электричество, который уже был исписан с обеих сторон, нашла в буфете чистую тетрадь (тоже с котятами, бабушка покупала их пачками) и написала на первой странице:

«Список до».

Потом долго сидела над пустой строкой, не зная, с чего начать. Оказалось, что я не помню, что я помню. Я помнила работу. Помнила сроки, номера договоров, лица клиентов, суммы недостач по последним шести проектам с точностью до рубля. А всё остальное лежало где-то внизу, неразобранной кучей, и никто никогда не проводил по нему инвентаризацию.

В половине второго ночи у меня было двадцать восемь пунктов. Первым стояло: «Бабушкин смех, когда я уронила банку с вареньем (лето, мне пять)». Последним: «Как пахнет её платок».

Я перечитала список дважды. Потом вырвала страницу, сложила вчетверо и спрятала в карман джинсов, чтобы она была на мне, а не в доме.

Это было глупо. Я это понимала. Но аудитор, который не делает копию до проверки, долго в профессии не задерживается.

Глава 4. Список до

В четверг я никуда не уехала.

Я написала Игорю Семёновичу с ведра у колодца, что нотариус задерживает документы и я буду в понедельник. Это была первая ложь работе за восемь лет. Он ответил смайликом с поднятым пальцем, и меня это задело сильнее, чем если бы он рассердился: оказалось, что без меня на работе спокойно могут обойтись четыре дня.

Нотариус ничего не задерживал. Я осталась, потому что хотела увидеть пятницу своими глазами. Доказать себе, что ночь пройдёт, утром я сверю список и все двадцать восемь пунктов окажутся на месте. Потом я спокойно продам дом, закрою вопрос с Пашкевичем и уеду с ощущением, что меня не удалось развести. Так я объяснила это себе. Так, наверное, объясняют себе люди, которые идут проверять, правда ли в заброшенном доме кто-то ходит.

Днём я делала то, что делают с наследством. Разобрала шкаф с одеждой: бабушкины платья пахли нафталином и мятой, я складывала их в мешки для пожертвований и старалась не смотреть на воротники. В кармане серой кофты нашла фантик от ириски «Кис-кис» и долго держала его в руке, не понимая почему. Потом вспомнила: я любила эти ириски, и бабушка всегда носила одну в кармане, на случай если я заплачу. Мне было шесть. Я вписала это в «Список

до» двадцать девятым пунктом.

Счётчик я переписала второй раз. Нашла в чулане ящик со старыми квитанциями и разобрала их по годам, чтобы руки были заняты. Квитанции шли без пропусков с девяносто восьмого года. Бабушка оплачивала всё вперёд, иногда на полгода. Чтобы никому не быть должной.

К вечеру я замерзла. Печь я топить не умела, а электрический обогреватель, найденный в чулане, выбил пробки на втором часу работы. Я сидела в куртке на кухне при свечах, пила чай без сахара и чувствовала себя героиней плохого фильма, которая сама виновата во всём, что с ней случится.

В девять я позвонила маме. Связь с ведра была плохая, голос шёл кусками.

— Ты где? — спросила мама. — Ты говорила, в четверг.

— Задержалась. Мам, помнишь лето, когда я болела? В две тысячи третьем. Пневмония.

Пауза в трубке была длиннее, чем требовала плохая связь.

— Помню, конечно. А что?

— В какой больнице я лежала?

— В районной. Ника, ты же знаешь.

— Ты ко мне приезжала?

— Конечно приезжала. — Ещё пауза. — Ну, не сразу. Мне Таисия позвонила, когда тебя уже… Когда кризис прошёл. Ника, что случилось? Тебе там кто-то что-то сказал?

— Нет, — сказала я. — Просто нашла бабушкины бумаги.

— Не читай ты их, — сказала мама быстро. — Она по-

следние годы была не в себе. Писала всякое. Сожги лучше.

— Мам, а выписка из больницы у тебя есть?

Но связь пропала. Когда я перезвонила, мама не взяла трубку. Через пять минут пришло сообщение: «Устала, легла. Позвоню завтра. Не читай бумаги».

Я стояла на ведре и смотрела на сообщение, пока экран не погас. Восемь лет я проверяю отчётность, и я знаю, как выглядит человек, у которого спросили про первичный документ, а документа нет. Он говорит «конечно» два раза подряд. И потом просит не смотреть.

Ночью я не спала.

Я разложила на кухонном столе «Список до», тетрадь с котятами и чистый лист. Решила записывать всё, что происходит, по часам, как журнал наблюдений. Зажгла три свечи. Закрыла все окна, проверила дважды, а в маленькой комнате, где не было шпингалета, приставила к раме стул.

«22:10. Тихо. Туман у забора, не двигается».

«22:40. Туман у бочки».

«23:15. Туман на грядках. Плотный. Светится. Девочки не видно».

Я заставляла себя писать ровно, разборчиво, с датой и временем, как в акте. От этого становилось легче. Пока ты пишешь, ты наблюдатель, а не участник.

«23:50. Туман у крыльца. В доме холоднее. Пахнет водой. Болотной».

Запах был сильный. Так пахнет у проруби, когда лёд толь-

ко-только встал: холодной водой, гнилым деревом и почему-то мокрой шерстью, как от собаки после купания. Я проверила окна. Все были закрыты. Стул в маленькой комнате стоял на месте.

Туман шёл по полу.

Он не входил в дверь, не просачивался в щели. Он просто появлялся: сначала под столом, тонким слоем, как пар над утренней рекой, потом выше, по щиколотку, по колено. Свечи не гасли. Пламя стояло прямо, как в безветрие, и туман огибал его, не касаясь.

«0:20. Туман в кухне. До колена. Я…»

Дальше я не дописала.

Я помню, что держала ручку. Помню, что туман был тёплым, не холодным, как я ждала. Помню звук: очень тихий, ровный, как шорох, с которым перелистывают страницы толстой книги, много страниц подряд, быстро и без остановки.

Потом я проснулась.

За окном было серо. Свечи прогорели до блюдец. Я сидела за столом, положив голову на руки, и щека затекла так, что на ней отпечатались клетки тетради. В доме пахло мятой и золой. Обычным утром.

На листке под последней строкой «0:20. Туман в кухне. До колена. Я…» было написано ещё одно слово. Моим почерком, но я не помнила, как его писала.

«Отдала».

Я долго смотрела на это слово. Потом взяла «Список до»

и стала читать. Строка за строкой. С карандашом, отмечая галочкой то, что помню.

Галочка. Галочка. Галочка.

Четырнадцатый пункт: «Выпускной. Золотая медаль. Мама плачет в третьем ряду, бабушки нет».

Я прочитала его трижды.

Я знала, что у меня золотая медаль. Она лежала у мамы в шкатулке, в коробочке с бархатной подушкой. Я знала, что был выпускной: есть фотография, я в синем платье, с лентой через плечо. Я знала, что бабушка не приехала. Это я помнила, потому что злилась. Но саму церемонию, зал, лица, то, как мне вручали медаль, мамины слёзы в третьем ряду я не помнила. Там, где оно должно было лежать, было пусто и гладко, как на косяке над отметкой «2003».

Я написала этот пункт сама. Два дня назад. И не могла вспомнить, как вспоминала его.

Я проверила остальные. Двадцать восемь галочек из двадцати девяти. Не хватало одной.

Я встала, налила воды из чайника и выпила, не чувствуя вкуса. Потом вышла на крыльцо. Огород был мокрым, трава у забора лежала полосой, к бочке и обратно, как будто через неё ночью протащили что-то тяжёлое. На нижней ступеньке крыльца, там, где лежит половик, стоял термос. Зелёный, с отбитой крышкой.

Под термосом лежала записка. Карандашом, мелким прямым почерком без наклона: «Сладкий. Простите, другого

нет. А. Л.».

Чай был с шиповником и с сахаром. Много сахара. Я выпила половину термоса, сидя на ступеньке, и меня трясло, но не от холода.

Он пришёл через час. Без ящика с инструментами, без книги. Встал у калитки и не стал заходить.

— Что? — спросила я.

— Мне нужно знать, сколько взяли, — сказал он. — Для записи.

— Для записи, — повторила я. — Вы стоите у меня под окном и спрашиваете, что у меня украли, чтобы правильно заполнить графу?

— Да.

Я засмеялась, коротко и зло. Потом перестала.

— Выпускной, — сказала я. — Как мне вручали медаль. Я знаю, что это было, но не помню.

Он кивнул. Достал из кармана карандаш, огрызок, и записал что-то на своём левом запястье, прямо на коже. Не в книгу. На руку.

— Это две меры, — сказал он. — Может быть, три.

— Кто решает?

— Межа. Я сверю, когда вернусь.

— Арсений Павлович. — Я поставила термос на ступеньку. — Это было моё. Это не ваше и не Межи. Это было моё.

— Я знаю, — сказал он.

— Нет. Вы не знаете. Вы записываете.

Он помолчал. Посмотрел на свою руку, на карандашные цифры у запястья, потом на меня.

— Вчера ночью, — сказал он ровно, — я тоже отдал кое-что. Я не знаю, что. Я знаю только, что у меня в доме лежит пачка корма для кошек, а кота у меня нет.

Я не сразу поняла. Потом вспомнила рыжего толстого кота, который тёрся о его ботинки у меня на кухне.

— Рубль, — сказала я. — Его зовут Рубль.

Он посмотрел на меня так, будто я сказала что-то на незнакомом языке. Вежливо. Без узнавания.

— Спасибо, — сказал он. — Я запишу.

И записал. Прямо под цифрами, у запястья: «Рубль — кот».

Он ушёл, а я осталась на крыльце с его термосом. Я не понимала, что он мне сейчас сказал. Хранитель книги, по его же правилам, не платит. Он пишет. Я вчера видела, как он гладит этого кота, а сегодня он не помнит, что кот у него есть.

Значит, он тоже кому-то должен.

Я поднялась, пошла в дом, взяла чистый лист и написала сверху: «Список вопросов». Первый пункт я подчеркнула дважды.

«Кто ещё в посёлке знает, сколько у меня осталось?»

Пашкевич знал про долг. Вера Сергеевна знала, что бабушка «не в себе». Галя знала, что надо закрывать окна. Мама знала, что больницы не было. Каждый знал свой кусок и молчал о своём.

Аудиторы называют это сговором. Я называла это работой.

Глава 5. Выборка

Дом Лучинина стоял на краю Верхней улицы, последним перед лесом. Маленький, бревенчатый, обшитый серым сайдингом только с одной стороны, будто хозяину надоело на середине. На крыльце лежал аккуратный штабель дров. На двери висела табличка, написанная от руки: «Электрик. Котлы. Стучать громко».

Я постучала громко.

Он открыл не сразу. На нём была старая домашняя кофта с растянутыми рукавами, очки он надел на нос, а не повесил на шнурок, и от этого выглядел моложе и растеряннее.

— Вероника Андреевна.

— Мне нужна книга, — сказала я. — Для проверки.

— Нет.

— Вы даже не спросили, какой проверки.

— Не важно. Книга не для посторонних.

— Я не посторонняя. Я должник. Вы сами сказали. Четыреста двенадцать мер, а сегодня, видимо, четыреста девять. Или десять. Межа ещё не решила.

Он снял очки, сложил их и повесил на шнурок. Это заняло у него время, и я поняла, что он думает.

— Должник видит свою строку, — сказал он. — Это право. Остальные строки чужие.

— Арсений Павлович, — сказала я. — Если у вас в посёл-

ке кто-то пишет долги на других людей, это видно только по чужим строкам. На своей строке я ничего не найду. У меня там одна запись и потом двадцать три года погашения.

— С чего вы взяли, что кто-то пишет долги на других?

— Ни с чего. Я так работаю. Я не ищу то, что меня убедит. Я делаю выборку и смотрю, что из неё вылезет.

Он смотрел на меня с порога, а я стояла на ступеньку ниже. Где-то в доме гудел котёл. С крыши капало.

— Вы будете смотреть при мне, — сказал он наконец. — Ничего не фотографировать. Ничего не выписывать. Книгу из рук не забирать.

— Договорились.

— Я серьёзно.

— Я тоже.

Он посторонился.

Внутри было чисто и пусто, как в гостиничном номере, где живут давно, но не обжились. Одна комната и кухня за перегородкой. Стол у окна, два стула, кровать, застеленная солдатским одеялом. На стенах ничего, кроме календаря за прошлый год и схемы электропроводки посёлка, нарисованной от руки на большом листе ватмана: улицы, дома, столбы, номера трансформаторов. Аккуратная, как чертёж.

У двери на полу стояла пачка сухого корма. Нераспечатанная. Рядом миска с водой. Рубля не было.

— Он ушёл утром, — сказал Лучинин, заметив мой взгляд. — Сам. Я его не выгонял.

— Он вернётся.

— Возможно.

Книга лежала в железном ящике из-под инструментов, под кроватью. Ящик был заперт на навесной замок. Лучинин открыл его ключом, который висел у него на шее рядом с очками, достал книгу и сел за стол. Мне поставил стул напротив. Книгу развернул так, чтобы я могла читать, а сам положил ладони по обе стороны разворота, как держат на столе миску, которую не хотят отдавать.

— С какого года? — спросил он.

— С две тысячи девятнадцатого.

— Почему?

— Потому что с две тысячи девятнадцатого, если верить тетради, бабушка стала платить чаще. Раньше она отдавала одно воспоминание раз в две-три недели. С девятнадцатого раз в неделю. Иногда два раза. А остаток уменьшался медленнее, чем должен был.

Он посмотрел на меня поверх ладоней.

— Вы считали.

— Вчера ночью, пока ждала. По тетрадям у меня только с двадцать пятого года, но в первой есть остаток на начало, и он не сходится с тем, что было бы при прежнем темпе. Значит, в какой-то момент к её долгу кто-то добавил.

— Или Межа стала брать дешевле.

— Вы в это верите?

Он не ответил. Перевернул страницы до января девятна-

дцатого года.

Я читала медленно. Строки шли разными почерками: сам Лучинин записывал платежи, а сделки подписывали должники. Кредиторы были разные. «Сбербанк, кредит на трактор». «Сотникова Л. С., деньги в долг 40 т.». «Межа, здоровье». «Межа, урожай». Посёлок брал взаймы у тумана, как берут у соседа до зарплаты. Я никогда не видела столько чужих бед в одной таблице.

На третьей странице двадцатого года я нашла первую.

«14 марта 2020. Перевод долга. С: Кожина В. С. (часть). На: Лобанова Т. М. Мера: 18. Подпись нового должника: [бабушкина]».

— Это что?

— Перевод. — Лучинин даже не посмотрел. — Бывает. Человек берёт на себя часть чужого долга. Обычно родственники. Иногда соседи.

— Бабушка взяла на себя долг Кожиной?

— Видимо.

— Кожина это Вера Сергеевна?

— Да.

— Фельдшер.

— Да.

— Она с ней дружила?

— Все с ней дружат, — сказал он. — Она всех лечит. — Он помолчал. — Таисия Марковна сама предложила взять часть её долга. Осенью девятнадцатого, на сходе, при всех.

Сказала: «Я Вере должна больше, чем ей тут записано». Вера Сергеевна плакала.

— Должна за что?

— Не сказала.

Я нашла ещё одну. Потом ещё. В двадцатом году три перевода. В двадцать первом пять. В двадцать втором семь. Не все от Кожиной: был перевод от какого-то Гуркина, от Сотниковой, от Пашкевича Э. В., мелкий, на четыре меры. Но больше всего от Кожиной.

Я положила палец под одну из подписей.

— Посмотрите.

— На что?

— На подпись.

Он посмотрел. Это была бабушкина подпись: «Лобанова», с завитком на «Л» и длинным хвостом вниз.

— И что?

— Сравните. — Я вернулась на страницу назад, к записи о платеже бабушки за тот же март. Там тоже стояла её подпись: в платежах подпись не была нужна, но бабушка зачем-то ставила её под каждой своей строкой. Привычка бухгалтера. — Вот её подпись в марте двадцатого. Видите? Буквы дрожат. «Л» не закрыта, хвост короткий, «а» в конце почти слилась с «в». У неё тогда уже тряслись руки. А вот подпись под переводом от того же числа. Ровная. Буквы одной высоты. Нажим одинаковый от начала до конца. «Л» закрыта петлёй.

Он наклонился над книгой. Долго смотрел. Сравнивал од-

ну строку с другой, водя по воздуху карандашом, не касаясь бумаги.

— Слишком ровная для руки, которая уже дрожала, — сказала я.

— Люди в разные дни пишут по-разному.

— В один и тот же день?

Он не ответил. Перевернул страницу. Посмотрел на следующий перевод, двадцать первого года, потом на платёж рядом. Потом на ещё один.

Котёл на кухне щёлкнул и стих. Стало слышно, как капает с крыши.

— Это ничего не доказывает, — сказал он наконец.

— Это ничего не доказывает, — согласилась я. — Это выборка. Девять подписей из девяти, где перевод на бабушку, ровнее её подписей в те же дни. Если бы это был склад, я бы уже запросила оригиналы накладных.

— Это не склад.

— Я заметила. На складе за недостачу никто не отдаёт выпускной.

— Если бы это была не её подпись, — сказала я, — разве ваша Межа бы её приняла? Она же видит, кто что помнит.

— Память она видит. — Он не поднял головы. — А согласие нет. Книга не спрашивает, хотел ли человек. Она смотрит на подпись и на то, принял ли строку хранитель. Если хранитель принял, значит, рука та. Поэтому хранителю нельзя ошибаться. Это единственное, на чём всё держится.

Он поднял на меня глаза. Я ждала, что он разозлится. Он не разозлился. Он выглядел так, будто я сказала что-то, что он сам думал много раз и каждый раз отодвигал.

— Кто принимал эти переводы? — спросила я тихо.

Он не стал делать вид, что не понял.

— Я.

— Вы видели, как бабушка их подписывает?

— Нет. — Пауза. — Мне приносили уже подписанные. Таисия Марковна последние годы плохо ходила. Документы от неё приносили.

— Кто?

Он закрыл книгу. Не захлопнул, закрыл: двумя руками, медленно, придержав обложку, чтобы не стукнула. Но закрыл посреди моей фразы, посреди страницы, на которой лежал мой палец. Мне пришлось быстро убрать руку.

— Хватит, — сказал он.

— Я не закончила.

— Я знаю. — Он встал, взял книгу и убрал её в железный ящик. Щёлкнул замком. — Вы ищете виноватого, Вероника Андреевна. Это ваша работа, я понимаю. Но я храню чужие жизни. Каждая строка в этой книге чья-то жизнь, чья-то корова, чей-то ребёнок, которому сделали операцию. Если я начну сомневаться в каждой подписи, книга перестанет работать. А если книга перестанет работать…

— То что?

Он не договорил. Задвинул ящик под кровать. Постоял,

глядя на пачку кошачьего корма у двери.

— То у всех в посёлке заберут всё сразу, — сказал он. — Правило десятое.

Я встала. Застегнула куртку. На запястье у него, когда он поправлял рукав, я увидела вчерашнюю надпись: «Рубль — кот» и под ней новую, сегодняшнюю, синей шариковой ручкой: «Н. Л. проверка 30.10».

— Вы записали меня на руку, — сказала я.

— Я записываю то, что не хочу забыть, — сказал он. — На случай, если Межа возьмёт.

— У вас там нет места.

Он посмотрел на своё запястье. Под рукавом кофты, выше по руке, были ещё записи, старые, полустёртые, наслоившиеся друг на друга, как надписи на парте.

— Мне хватает, — сказал он и открыл дверь.

Я вышла на крыльцо. Обернулась.

— Арсений Павлович. Мне не нужен виноватый. Мне нужно, чтобы сошлось.

— Это одно и то же, — сказал он и закрыл дверь.

Я дошла до калитки. У калитки сидел рыжий кот. Сидел и смотрел на дверь дома, не моргая.

Я присела на корточки. Кот подошёл, понюхал мои пальцы и потёрся головой о ладонь.

— Он тебя не помнит, — сказала я коту. — Это не потому, что ты плохой.

Кот не стал слушать. Он вернулся на своё место у калитки

и сел, обернув хвост вокруг лап.

Я пошла домой и по дороге вписала в «Список вопросов» второй пункт: «Кто носил бабушке документы на подпись?» А под ним третий, мелко: «Почему он сам платит?»

Глава 6. До востребования

Библиотека и почта в Сыром Бору занимали один дом с двумя крыльцами. На левом висела вывеска «Почта России» с облупившимся синим, на правом табличка, написанная тушью: «Библиотека. Вт, чт, сб с 10 до 15». Была суббота, без пяти десять, и на правом крыльце уже стояла девочка лет тринадцати в чёрной куртке с капюшоном и смотрела в телефон.

— Открыто? — спросила я.

— Сейчас откроет, — сказала девочка, не поднимая глаз. — Вы Лобанова.

— Почему все в этом посёлке знают, кто я, а я не знаю никого?

Девочка подняла глаза. Серые, внимательные, с подводкой, нарисованной так ровно, что я ей позавидовала.

— Потому что вы одна новая, — сказала она. — А нас тут сто двадцать дворов. Я Кира. Мама сказала, вы придёте.

— Твоя мама?

Дверь распахнулась. На пороге стояла женщина моего возраста, невысокая, с рыжеватыми волосами, собранными в небрежный пучок, в растянутом зелёном свитере и с кружкой в руке. Она посмотрела на меня, и кружка в её руке качнулась так, что чай плеснул на порог.

— Ты, — сказала она.

— Лида, — сказала я.

Я узнала её не по лицу. Лицо было взрослое и чужое: морщинки у глаз, усталость, веснушки, которые стали бледнее. Я узнала её по тому, как она держала кружку: двумя руками, обхватив пальцами, как маленькие держат стакан с молоком. В шесть лет она так держала всё: кружки, банки, мои руки, когда мы перебегали дорогу.

— Двадцать три года, — сказала Лида. — Двадцать три года, Лобанова. И ты стоишь у меня на крыльце, как будто вчера уехала.

— Я не знала, как…

— Не знала. — Она сделала глоток, чтобы занять рот. — Ты даже на похороны не приехала. Мы её всем посёлком хоронили. Я у гроба стояла, держала фотографию. Твою, между прочим. Она просила, чтобы твою.

Я не нашла, что ответить. Кира смотрела то на маму, то на меня, не отрываясь.

— Кира, иди открой почту, — сказала Лида, не глядя на дочь.

— Почта с одиннадцати.

— Иди открой.

Кира закатила глаза так, что, наверное, увидела собственный затылок, взяла у матери с гвоздя связку ключей и ушла на соседнее крыльцо.

Лида постояла ещё секунду. Потом отступила в сторону.

— Заходи. Чай будешь?

Библиотека была маленькая, в одну комнату, с печкой-голландкой в углу. Стеллажи до потолка, длинный стол, накрытый клеёнкой, и запах, который бывает только в сельских библиотеках: клей, старая бумага, печной дым и почему-то яблоки. Из почтового отделения за стеной тянуло сургучом.

Лида налила мне чаю в кружку с надписью «Лучшему библиотекарю района 2019». Себе подлила в свою. Мы сели по разные стороны длинного стола, как на переговорах.

— Ты надолго? — спросила она.

— До понедельника. Наверное.

— Наверное. — Она хмыкнула. — Ты всегда так говорила. «Наверное, приеду». «Наверное, напишу». Я тебе писала, знаешь? До двенадцати лет. Письма на адрес, который мне твоя бабушка дала. Ты ни разу не ответила.

— Я не получала, — сказала я. Это было правдой, но прозвучало как оправдание.

— Конечно. — Лида поставила кружку. — Ладно. Не за этим ты пришла. Чего тебе надо?

Я рассказала. Не всё. Про тетрадь, про книгу, про строку от четвёртого июля, про то, что мне надо понять, что случилось тем летом. Про выпускной не рассказала. Это было слишком похоже на бред, а Лида смотрела на меня так, будто ждала, что я в любой момент встану и уеду.

Когда я закончила, она долго молчала.

— Ты правда ничего не помнишь? — спросила она нако-

нец. — Про то лето?

— Помню, что болела. Пневмония. Меня увезли в районную больницу, потом мама забрала в Питер.

— Пневмония, — повторила Лида странным голосом.

— А что?

— Ничего. — Она отвела глаза к окну. — Мы с тобой каждый день на Межу бегали. Помнишь? Твоя бабушка запрещала, а мы бегали. Там у старых мостков вода тёплая была, как в ванне. Ты научила меня плавать по-собачьи. Ну, я тебя научила. Не важно.

— Я не помню.

— Да. — Лида смотрела в окно. — Конечно не помнишь. Ты же после того, как ты…

Она остановилась. Так резко, будто прикусила язык. Поставила кружку на стол и тут же опять взяла.

— После того, как я что?

— Заболела, — сказала Лида. — После того, как ты заболела, ты больше не приезжала.

— Лида.

— Что?

— Ты сказала «после того, как ты». И остановилась. Люди не останавливаются на середине фразы, если продолжение простое.

— Ну ты и зануда стала, Лобанова, — сказала Лида. И вдруг улыбнулась, коротко, по-детски, со щербинкой между передними зубами, которую я тоже помнила. — Ты такой и

была. Всё по полочкам. В шесть лет считала, сколько у меня веснушек.

— Сколько было?

— Сорок семь. Ты сказала, что сорок семь на лице и неизвестно сколько на спине. — Улыбка погасла. — Ника, не лезь ты в это. Правда. Продай дом и уезжай. Твоя бабушка хотела, чтобы ты уехала. Она для этого… Она много для этого сделала.

— Что она сделала?

Лида встала, подошла к печке, открыла заслонку и стала шуровать кочергой, хотя в печке ничего не нужно было шуровать.

— Я тебе ничего не скажу, — сказала она в печку. — Не потому что не хочу. Я сама толком не знаю. Мне было семь. Я помню, что было страшно. Помню, что твоя бабушка кричала. Она никогда не кричала, а тут кричала. А потом ты лежала на берегу, и все говорили, что ты заболела.

— На берегу?

Кочерга звякнула о чугун.

— Я не знаю, Ника. Мне было семь.

Дверь из почтового отделения открылась, и Кира заглянула в библиотеку.

— Мам, тут извещение пришло. На Лобанову.

Лида обернулась. Я обернулась.

— На какую Лобанову? — спросила Лида.

— На Лобанову В. А. — Кира держала в пальцах малень-

кий розовый бланк. — Заказное. До востребования. В райцентре лежит. Пришло в сентябре, тут написано «повторное». Его в ящик Таисии Марковны клали, а ящик опечатан. Я сейчас разбирала.

Лида и я посмотрели друг на друга.

— Дай, — сказала я.

— Не положено, — сказала Кира. — Это почтовое отправление. По паспорту.

— У меня есть паспорт.

— Тогда в райцентре получите. Тут только извещение. Я вам извещение отдам, если распишетесь.

Она вынесла журнал, я расписалась. Розовый бланк был заполнен от руки: «Лобановой В. А., до востребования. Отправитель: Лобанова Т. М. Дата приёма: 20.09.2026».

Двадцатое сентября. Через восемь дней после того, как бабушка ушла на Межу. Через три дня после похорон.

Я держала бланк и не понимала, что держу.

— Это не может быть, — сказала я. — Она умерла двенадцатого.

— Может, ошибка в дате, — сказала Кира. — Там операторы в райцентре вечно путают. Или она раньше отдала кому-то, чтобы отправили. Так бывает.

— Кому?

— Откуда я знаю, — пожала плечами Кира. — Хотите, сфоткаю, что там в журнале на приёме было? У меня есть доступ к их системе. Ну, к выписке. Мама разрешает.

— Не разрешаю, — сказала Лида.

— Разрешаешь, ты мне пароль сама дала.

— Кира.

— Ну что «Кира»? Человеку надо. — Кира повернулась ко мне. — Автобус в райцентр в шесть сорок. Обратно в два. Почта там до пяти.

Я сложила розовый бланк вдвое и спрятала в карман джинсов, рядом со «Списком до».

— Спасибо, — сказала я Кире.

— Да не за что. — Она уже опять смотрела в телефон. — Вы только туман ночью переждите нормально. А то утром не вспомните, зачем ехать.

Лида уронила кочергу.

Кира подняла глаза от телефона, посмотрела на маму, на меня и сказала совершенно спокойно:

— Что? Все знают. Только делают вид.

Я ушла из библиотеки в половине двенадцатого. Лида проводила меня до крыльца. На крыльце она вдруг взяла меня за руку, двумя руками, как держала кружку, и сказала быстро, глядя в сторону:

— Я рада, что ты приехала. Ты не подумай. Я злюсь, но я рада.

— Я тоже, — сказала я. И поняла, что это правда.

Она отпустила мою руку и ушла в дом. А я стояла на крыльце библиотеки, держала в кармане извещение от мёртвой бабушки и думала о том, что Лида сказала «ты лежала

на берегу». Не в постели. Не в больнице. На берегу.

Люди, которые болеют пневмонией, не лежат на берегу.

Глава 7. Калькулятор без равенства

Пашкевич жил не в посёлке, а над ним. Его дом стоял на взгорке за пилорамой: двухэтажный, кирпичный, с пластиковыми окнами и спутниковой тарелкой, которая смотрела в небо, как будто ждала оттуда отдельной связи. Забор был высокий, глухой, металлический, крашенный в цвет мокрого асфальта. На воротах висела камера.

Я позвонила в домофон в воскресенье в одиннадцать. Ответили сразу, как будто ждали.

— Чего надо?

— Это Лобанова. Насчёт дома.

Пауза. Щелчок замка.

Внутри двор был засыпан щебнем, у крыльца стоял чёрный внедорожник с номерами из областного центра. Сам Пашкевич встретил меня в дверях в спортивных штанах и шерстяной жилетке поверх рубашки, с тем же калькулятором в руке. На ногах у него были тапочки в виде медведей. Он увидел, что я смотрю на тапочки, и не смутился.

— Внук подарил, — сказал он. — Проходи. Обувь не снимай, у меня полы с подогревом, всё равно грязь.

В гостиной было тепло, как в бане. Огромный телевизор беззвучно показывал хоккей. На стене висела карта района,

утыканная разноцветными булавками. Я узнала очертания Сырого Бора: булавок на нём было больше, чем домов.

— Это твои должники? — спросила я.

— Это мои клиенты, — сказал он. — Садись. Чай, кофе, коньяк?

— Ничего.

— Правильно. — Он сел в кресло напротив, широко расставив ноги, и положил калькулятор на колено. — Значит, продаёшь.

— Хочу понять цену.

— Цена простая. Рыночная за такой дом в нашей глуши тысяч восемьсот. Если найдёшь дачника из Вологды, который любит болота. Не найдёшь. — Он нажал ногтем на голый контакт вместо кнопки «=». — Я дам триста. Наличными. Сразу.

— Это грабёж.

— Это щедрость. — Он показал мне экран калькулятора. На экране было «300 000». — Ты не понимаешь, что продаёшь. Ты продаёшь дом с долгом. Кто купит дом, где живёт должница Межи? Да никто. У нас тут в такой дом даже кошка не зайдёт.

— Долг не на доме. Долг на мне.

— Верно, — кивнул он. — Поэтому я тебе предлагаю сделку получше. Не триста. Шестьсот. Если ты при продаже перепишешь свой хвостик на меня.

Я не сразу поняла.

— Вы хотите взять мой долг?

— Не весь. Часть. — Он снова нажал на калькуляторе, ничего не появилось, он постучал по экрану, как стучат по барометру. — Четыреста девять у тебя сейчас. Я возьму, скажем, сто. Тебе станет полегче, а я с этой сотней разберусь.

Я перестала дышать на секунду.

— Сколько у меня сейчас?

— Четыреста девять, — повторил Пашкевич спокойно. — Выпускной у тебя три меры стоил. Неплохо. У меня один мужик за свадьбу одну меру отдал. Значит, свадьба была так себе.

— Откуда вы знаете?

Он улыбнулся. Улыбка у него была неожиданно хорошая, широкая, только глаза в ней не участвовали.

— Я председатель совета, девонька. Я всё знаю. Это моя работа.

— Эту цифру знает только хранитель. И Межа.

— И я, — сказал Пашкевич. — Как видишь.

Я встала. Он остался сидеть.

— Вы покупаете чужие долги, — сказала я. — Зачем?

— А это коммерческая тайна. — Он поднялся, медленно, с усилием, как поднимаются тяжёлые люди из глубоких кресел. — Слышь, Лобанова. Я тебе честно скажу, потому что ты мне нравишься. Ты тут чужая. Тебе тут никто не поможет. Электрик тебе поможет? Он себе помочь не может, он кота своего забыл. Верка тебе поможет? Пирожками. А я те-

бе помогаю деньгами и делом. Подумай до понедельника.

— До понедельника я уеду.

— Не уедешь, — сказал он без улыбки. — Должники Межи до развилки доходят и возвращаются. Спроси у кого хочешь. Туман не отпускает тех, кто ему должен, пока туманная пора не кончится. А она у нас до первого снега.

Он проводил меня до ворот. У ворот остановился и сказал, глядя не на меня, а на камеру над калиткой:

— Таисия Марковна меня не любила. А я её уважал. Ты передай… Ну, некому передать. Ладно. Иди.

Ворота щёлкнули за моей спиной.

Я шла вниз, к посёлку, по раскисшей дороге мимо пилорамы и думала о калькуляторе без кнопки «равно». Человек, у которого вместо равенства голый контакт, предложил мне купить сто мер моего долга. Значит, у долга есть рынок. Кто-то продаёт, кто-то покупает, и кто-то знает цены.

И он знал цифру. Четыреста девять. Я узнала её позже, чем он.

Дома я записала в «Список вопросов»: «Как Пашкевич узнаёт остатки? 1) от хранителя (?) 2) сам видит книгу (?) 3) от того, кто носит бумаги (?)». Подумала и обвела третий пункт.

Днём я сделала то, что надо было сделать с самого начала: позвонила на работу и попросила отпуск за свой счёт до пятницы. Игорь Семёнович помолчал в трубке.

— Ника, вы понимаете, что с первого декабря у вас проект

в Новосибирске. Нам нужно, чтобы вы были в форме.

— Я буду в форме.

— Вы никогда не брали отпуск за свой счёт.

— У меня никогда не умирала бабушка.

Он снова помолчал. Потом сказал другим голосом, человеческим:

— Хорошо. До пятницы. Но в понедельник жду.

Вечером туман пришёл рано, в шесть, когда ещё не стемнело. Я стояла у окна в маленькой комнате и смотрела, как он поднимается от Межи: сначала белой полосой над травой, потом стеной. В нём не было девочки. Я ждала её и почему-то расстроилась, что её нет.

В половине восьмого по Нижней улице проехала машина. Чёрный внедорожник с областными номерами. Ехал медленно, с выключенными фарами, хотя в тумане это было безумием. Свернул направо, на дорогу, которая вела вверх, к Верхней улице. К дому на краю, у леса. Туда, где табличка «Электрик. Котлы. Стучать громко».

Я стояла у окна и смотрела туда, где пропали красные габаритные огни.

Председатель совета, который знает остатки должников. Хранитель, который принимает подписи, не глядя, кто их принёс. Ночью, в тумане, с выключенными фарами.

Аудиторы называют это схемой. Я называла это вечером воскресенья.

Я надела куртку и вышла из дома.

Глава 8. Чужое воспоминание

Через двадцать шагов я поняла, что не вижу собственных ботинок.

Туман на Нижней улице был плотный и светлый, как свежий гипс. Он не холодил лицо. Он вообще ничего не делал, просто был, и от этого становилось хуже: дождь хотя бы бьёт, ветер толкает, а тут ничего, кроме белого, в котором пропадает всё, на что смотришь дольше секунды.

Я шла вдоль заборов, держась за штакетник. Дорогу к Верхней улице я помнила днём: прямо до колодца, налево мимо дома с голубыми наличниками, вверх по горке. Ночью, в тумане, колодец оказался не там. Я нащупала ведро, перевёрнутое, на котором стояла днём. Значит, правильно. Налево.

Голубых наличников я не увидела. Я увидела костёр.

Он горел посреди улицы, в двух шагах от меня, маленький, аккуратный, обложенный камнями. Возле костра на корточках сидел мальчик лет двенадцати, коротко стриженный, в ватнике не по росту, и подбрасывал в огонь щепки. Рядом стоял мужчина, высокий, тяжёлый, в армейских штанах, и смотрел на мальчика сверху.

— Ты пойми, Эдька, — говорил мужчина. — Долг это не стыдно. Стыдно не отдавать. Взял, значит, отдай. А не можешь отдать, найди того, кто отдаст за тебя. Так мир устроен.

— А если никто не захочет? — спросил мальчик.

— Захотят. — Мужчина положил тяжёлую руку ему на голову. — Люди слабые, Эдька. Слабым всегда нужны деньги. Ты им деньги, они тебе свою подпись. Честный обмен.

Мальчик поднял лицо к огню. У него были светлые глаза, цепкие, неприятные, как у взрослого. Я их узнала.

Я шагнула назад и упёрлась спиной в забор. Костёр, мальчик, мужчина не исчезли сразу. Они медленно поблекли, как фотография, которую держат на солнце, и туман снова стал белым и пустым.

Где-то внутри, глубоко, что-то тихо щёлкнуло. Как будто перегорела маленькая лампочка в соседней комнате, куда ты всё равно не ходишь.

Я стояла у забора, вцепившись в штакетник, и проверяла себя, как проверяют карманы после давки в метро. Имя. Вероника Андреевна Лобанова. Работа. Аудит. Год рождения. Мама, Оля. Бабушка, Таисия. Выпускной (пусто, это я уже знала). Детство. Лето. Ириски «Кис-кис» в кармане серой кофты. Оладьи.

Оладьи.

Я знала, что бабушка пекла оладьи. По воскресеньям, на кислом молоке, с яблоком. Я это знала, как знают таблицу умножения. Но вкус, запах, то, как они шипели на сковородке, то, как бабушка складывала их стопкой на тарелку с синим ободком и накрывала полотенцем, чтобы не остыли, исчезло. На этом месте была гладкая белая стена, как туман

вокруг.

Я не плакала. Я была слишком зла, чтобы плакать.

— Вероника Андреевна.

Голос был справа. Я повернулась и не увидела никого. Потом увидела свет: маленький, жёлтый, качающийся. Фонарь. Свет приблизился, и из тумана вышел Лучинин, в куртке нараспашку, без шапки, с фонарём в одной руке. Другой рукой он держал за руку себя самого, за левое запястье, как держат, когда меряют пульс.

— Что вы здесь делаете? — спросил он.

— Иду за Пашкевичем.

Он посмотрел на меня так, будто я сказала, что иду по дну реки.

— Пашкевич привёз дрова Тимофею Ильичу, — сказал он. — Глухову. Он каждое воскресенье привозит. Тимофей Ильич живёт через забор от меня. Пашкевич не заходил ко мне три года.

Я открыла рот и закрыла.

Схема рассыпалась. Не было ночной встречи хранителя с председателем, не было сделки в тумане. Был мужик, который по воскресеньям возит дрова старику.

— Он ехал без фар, — сказала я. Прозвучало глупо.

— В тумане фары слепят, — сказал Лучинин. — Свет отражается. Местные ездят по памяти. — Он поднял фонарь, посветил мне в лицо, и я зажмурилась. — Вы шли сквозь что-то.

— Да.

— Что вы видели?

— Пашкевича. Маленького. С отцом. У костра.

Он кивнул, будто это объясняло что-то важное.

— Что взяли?

— Оладьи, — сказала я. И тут, наконец, голос у меня сломался. Не на слове «оладьи», а после, на вдохе. Я стояла посреди улицы, которую не видела, перед человеком, которого не понимала, и не могла договорить фразу, потому что у меня забрали вкус бабушкиных оладий за то, что я подсмотрела чужого мальчика у костра.

Лучинин ничего не сказал. Он снял с шеи шарф, серый, вязаный, с вытянутыми петлями, и молча обмотал его вокруг моей шеи. Два оборота. Аккуратно, как перевязывают рану. Потом взял меня за локоть.

— Пойдёмте, — сказал он. — Ко мне ближе.

— Я хочу домой.

— В доме хранителя туман не берёт, — сказал он. — Это правило. В вашем доме возьмёт. Сегодня он уже взял у вас за проход. До утра возьмёт ещё. Вы хотите ехать завтра в райцентр?

Я посмотрела на него. Я не говорила ему про райцентр.

— Кира, — сказал он, не дожидаясь вопроса. — Она мне пишет. Я ей котёл чинил.

— В этом посёлке вообще есть что-то, чего вы не знаете?

— Много, — сказал он. — Почти всё.

Мы шли медленно. Он держал меня под локоть и вёл, не глядя под ноги, как ведут по собственному дому в темноте. Фонарь качался в его руке и высвечивал в тумане только круг, в котором были наши ботинки и кусок мокрой дороги. Один раз туман справа от нас потемнел, и я увидела там чью-то кухню, женщину у плиты, ребёнка за столом, но Лучинин сжал мой локоть сильнее и сказал: «Не смотрите», и я отвернулась.

У него в доме было тепло. Котёл гудел. Пачка кошачьего корма стояла на том же месте у двери, нетронутая.

Он посадил меня за стол, поставил чайник, налил мне чаю из чайника, а себе в крышку от термоса. Положил в мою чашку три ложки сахара. Не спрашивая.

— Почему три? — спросила я.

Он посмотрел на сахарницу, потом на мою чашку.

— Не знаю, — сказал он. — Мне показалось, вам так надо.

Я сделала глоток. Было слишком сладко. Я выпила всё.

Он сел напротив. Помолчал. Потом достал из-под кровати железный ящик, открыл ключом, висевшим на шее, и вынул книгу. Положил на стол между нами.

— Вы сказали, что если бы это был склад, вы бы запросили оригиналы, — сказал он. — Других оригиналов нет. Есть только это. Показывайте, что видите. Я буду смотреть.

— Вы мне сегодня книгу не дали.

— Сегодня утром я был уверен, что вы ошибаетесь.

— А сейчас?

Он не ответил. Открыл книгу на две тысячи двадцатом и развернул ко мне. Ладони убрал. Положил их на колени, под стол.

Мы просидели над книгой до утра.

Я показывала ему подписи, он смотрел. Сначала молча. Потом стал спорить: это не доказательство, у пожилых людей бывают хорошие дни, рука может не дрожать с утра и дрожать вечером. Я соглашалась, переворачивала страницу и показывала следующую. К трём часам ночи он перестал спорить и стал показывать мне сам.

— Смотрите не на буквы, — сказал он. — На нажим. Видите вот здесь, на «Л»? Когда пишут шариковой ручкой, давление ровное, линия одной ширины. А тут линия расходится.

Он взял со стола лупу, старую, с костяной ручкой, и дал мне. Я наклонилась.

Под лупой линия на петле буквы «Л» была не одной, а двумя: две тонкие параллельные бороздки, которые на изгибе расходились и снова сходились. Как рельсы на повороте.

— Это перо, — сказал Лучинин. — Перьевая ручка. Когда нажимаешь сильнее, перо расщепляется, и половинки пишут каждая свою линию. Шариковая так не пишет.

— Бабушка писала шариковой.

— Всю жизнь. — Он перевернул страницу назад, к её платежам. Её подписи там были неровные, дрожащие, но линия везде была одна: тонкая, синяя, с маленькими кляксами ша-

рика на старте. — Таисия Марковна говорила, что перьевые ручки для тех, у кого много времени.

Я подняла голову от лупы. Он сидел, глядя на книгу, и в лице у него было то, что я видела у клиентов в тот момент, когда они понимали, что недостача не ошибка программы.

— Кто в посёлке пишет перьевой ручкой? — спросила я.

— Не знаю, — сказал он. — Не помню. — Он поднял левую руку и посмотрел на запястье, где было написано «Рубль — кот» и «Н. Л. проверка 30.10». — Может быть, знал.

За окном начало сереть. Туман редел, отступал к Меже, оставляя на стёклах крупные капли. Котёл щёлкнул и стих.

Лучинин взял шариковую ручку из стакана на столе и вдруг потянулся через стол ко мне.

— Дайте руку, — сказал он.

— Зачем?

— Левую. Пожалуйста.

Я протянула. Он отвернул край моего рукава и написал у меня на запястье, мелко, прямыми печатными буквами, своим почерком без наклона:

«Не забудьте, зачем едете».

Ручка щекотала. Я смотрела, как он пишет, и думала, что за последние восемь лет никто не касался моих рук так аккуратно.

— Это на случай, если по дороге туман возьмёт, — сказал он и отпустил мою руку. — Автобус в шесть сорок. Я провожу до развилки.

— Пашкевич сказал, что должники до развилки доходят и возвращаются.

— Пашкевич много говорит. — Он закрыл книгу. — Днём можно. Туман днём не держит. Ночью держит.

Он убрал книгу в ящик, щёлкнул замком и встал. И уже стоя, глядя в окно на серый рассвет, сказал, не поворачиваясь:

— Вероника Андреевна. Если в райцентре вы узнаете что-то, что мне не понравится, скажите всё равно.

— Почему?

— Потому что вы правы, — сказал он. — Что-то не сходится. А я восемь лет не видел.

Глава 9. Письмо с котятами

В автобусе я трижды проверила запястье. Надпись была на месте: «Не забудьте, зачем едете». Я помнила, зачем еду. От этого становилось смешно и немного страшно, как от записки «выключи утюг», которую находишь в кармане, уже стоя в аэропорту.

Лучинин проводил меня до развилки, как обещал. Мы шли молча. Туман уходил к Меже, неохотно, клочьями, цеплялся за кусты у дороги. У развилки, где стоит покосившаяся будка с надписью «Остановка», Лучинин остановился, кивнул мне и пошёл обратно, не дожидаясь автобуса. Я смотрела ему в спину и думала, что он похож на человека, который боится, что его попросят остаться.

Райцентр был обычным районным центром: площадь с памятником, рынок, торговый центр «Северный» в бывшем доме культуры, пятиэтажки. Почта стояла напротив рынка, в одноэтажном кирпичном здании с крыльцом из плитки, которая отваливалась ровно по одной на каждую ступеньку.

В очереди передо мной было четыре человека. Я стояла за бабушкой с посылкой, перевязанной бельевой верёвкой, и смотрела на стенд с открытками «С Днём учителя». Бабушка была учительницей. Потом бухгалтером. Потом двадцать три года должником Межи, если верить книге. Открытки на стенде были с котятами.

— Вам что? — спросила девушка в окошке.

Я протянула паспорт и розовый бланк.

Девушка ушла в глубину отделения, долго что-то искала на стеллажах и вернулась с конвертом. Обычный конверт, А5, с маркой за сорок рублей и наклейкой с трек-номером. Адрес был написан бабушкиным почерком. Тем самым, неровным, последних лет: буквы падали вправо, строки задирались вверх.

«Лобановой Веронике Андреевне. До востребования».

— Распишитесь, — сказала девушка.

Я расписалась. Девушка посмотрела на мою подпись, потом на паспорт и пододвинула мне конверт.

— Скажите, — спросила я, — можно узнать, кто его отправлял? Лично отправитель или кто-то по поручению?

— Это не по правилам, — сказала девушка.

— Отправитель умер. Двенадцатого сентября. А письмо принято двадцатого.

Девушка посмотрела на меня внимательнее. Потом на конверт. Потом нажала что-то на клавиатуре.

— Принято двадцатого сентября в десять двенадцать, — прочитала она с экрана. — Отправитель Лобанова Т. М. Оплачено наличными. Подпись на квитанции… — Она покрутила мышкой. — Тут скан. Неразборчиво. Буква «К» или «Л». Я не знаю, кто приносил. Я в тот день не работала.

— А кто работал?

— Надя. Она в декрете с октября.

Я поблагодарила и вышла.

Читать на крыльце почты я не смогла. Я дошла до торгового центра «Северный», купила в кафе на втором этаже кофе в бумажном стакане, села у окна, выходящего на площадь с памятником, и только тогда достала конверт.

Внутри было два листа. Тетрадная бумага в клетку, вырванная аккуратно, по линии, без лохмотьев на краю: бабушка всегда вырывала так, чтобы тетрадь не рассыпалась. И между листами, лицом вниз, фотография.

Я сначала прочитала письмо.

«Ника.

Если ты это читаешь, значит, я не успела. Я пишу 9 сентября, пока ещё помню, кто ты. Последние дни я помню плохо. Вчера забыла, как зовут твою маму, и полчаса искала её в телефоне. Нашла как „Оля дочка“. Значит, помнила раньше.

Не плати за меня. Это мой долг, я его взяла, я его и несу. Если он перейдёт на тебя, это неправильно, это я виновата. Я пыталась успеть. Не успела.

Заплатили за тебя. Ты этого не знаешь и не должна была знать. Но раз ты читаешь, значит, тебе придётся.

Ищи, кто пишет чужой рукой. Я не могу сказать, кто. Я не помню. Я помню только, что кто-то пишет, и что в последние годы мне становилось тяжелее, чем должно быть, а я не понимала почему. Я всю жизнь считала, Ника. Я чувствую, когда не сходится. А проверить уже не могу.

Арсению Павловичу можно верить. Он не знает, кто он.

Это моя вина тоже.

И ещё. Не верь, что ты кому-то должна за то, что живая. Ни мне, ни маме, ни Меже. Ты была самая весёлая девочка на свете. Я это отдала. Но это было.

Ешь нормально.

Бабушка».

Я прочитала письмо дважды. На второй раз буквы поплыли, и я поняла, что плачу, только когда капля упала на «ешь нормально» и чернила пошли синим цветком. Я поспешно промокнула лист салфеткой из кафе. Шариковая ручка. Синяя, с маленькими кляксами на старте.

Женщина за соседним столиком смотрела на меня. Я отвернулась к окну.

Потом перевернула фотографию.

Это был цветной снимок, бумажный, из тех, что печатали в фотоателье с плёнки, с белой каймой и датой в углу оранжевыми цифрами: «03.07.2003». Берег. Вода. Мостки из старых досок. На мостках сидели три ребёнка, болтая ногами в воде.

Слева девочка с рыжими косичками и щербатой улыбкой: Лида. Справа девочка в платье с крупными синими цветами, щурящаяся на солнце, с мокрой чёлкой. Я. Платье было из занавески, я узнала его, как узнала вчера, в тумане, у бочки.

А посередине, между нами, сидел мальчик. Лет десяти, худой, загорелый, остриженный под машинку. Он не смотрел в камеру. Он смотрел на меня, на мокрую девочку в платье

с цветами, и смеялся.

Я знала этот подбородок. Я знала, как он поворачивает голову, чуть набок, когда слушает. Я видела это сегодня ночью над книгой, при свете настольной лампы.

На обороте фотографии бабушкиной рукой, ещё твёрдой, давней, было написано: «Ника, Лида и Сеня. За день до».

За день до.

Третье июля. Четвёртого бабушка подписала долг за мою жизнь. Четвёртого на берегу Межи нашли мальчика десяти лет без памяти. А третьего он сидел со мной на мостках и смеялся, глядя, как я щурюсь на солнце.

Я сидела в кафе торгового центра «Северный», держала в руках фотографию и пыталась вспомнить мальчика по имени Сеня. Я перебирала всё, что у меня осталось от того лета: ириски, Лидины веснушки, тёплую воду у мостков, которую я не помнила, а знала со слов. Мальчика там не было. Даже пустого места не было. Как будто его никогда не было в посёлке.

Как будто его забыли все.

Автобус обратно уходил в два. Я пришла на остановку в половине второго и стояла под навесом, сжимая в кармане конверт, и смотрела на своё левое запястье. Надпись Лучинина размазалась от пота, но читалась: «Не забудьте, зачем едете».

Я не забыла. Теперь я знала, что везу обратно.

В автобусе я позвонила маме. Она взяла сразу, будто жда-

ла.

— Мам, — сказала я. — Сеня. Мальчик. Летом две тысячи третьего, у бабушки. Ты его помнишь?

— Какой Сеня? — спросила мама. Без паузы. Честно. — Не было там никакого Сени. Там из детей только ты была и Сотниковых девочка.

— Ты уверена?

— Ника, я там всё лето каждые выходные была. Не было мальчика. Что случилось?

Я посмотрела на фотографию. Мальчик смеялся.

— Ничего, мам. Перепутала.

Я положила трубку и долго смотрела в окно. Мама не врала. Я восемь лет слушаю людей, которые врут, и я знаю, как звучит правда. Мама говорила правду. Она не помнила мальчика, который сидел на мостках рядом с её дочерью.

Значит, Межа брала не только у должников.

Автобус довёз меня до развилки в три. Туман уже стоял у кромки леса, далеко, белой полосой, и не двигался. День был короткий, серый, ноябрьский. Я пошла к посёлку быстро, почти бегом, держа фотографию в нагрудном кармане, под курткой.

Мне нужно было показать её человеку, которого на ней узнала я и не узнала его собственная бабушка. Если у него была бабушка. Если у него хоть кто-то был.

Глава 10. Сеня

Он открыл после первого стука, будто стоял за дверью.

— Что вы узнали? — спросил он вместо приветствия.

Я молча достала фотографию из нагрудного кармана и протянула ему. Он взял её двумя пальцами, за белую кайму, как берут документы, на которых нельзя оставлять отпечатки. Надел очки. Посмотрел.

Я

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.